

# Анна Тутиева



Писатель, литературный редактор, психолог. Работает с начинающими издающимися авторами в качестве редактора. Под ее редакцией вышли книги в ИД «Городец», «Редакции Елены Шубиной», «ЭКМО». Выступала в качестве литературного обозревателя в литературных журналах и была номинатором премии «Нацбест-2020». Ведет литературный блог для писателей, автор бестселлера по писательскому мастерству «О чем кричит редактор», работает над созданием и продвижением нового направления в искусстве «безизм», преподает писательское мастерство в Академии Антона Чижва. В этом году в издательстве «Время» выходит книга «Древушие истории».

# Сегодня за окном хорошая погода

Рассказ

Моя кровать стоит у окна. В окно видно небо: необъятное летом, хмарью затянутое осенью. До окон достают верхушки деревьев. Вот и все, что я наблюдаю в мире уже двадцать пять лет, не слезая с кровати.

С год назад в окне появились военные самолеты, потом вертолеты. Я каждый раз вскакивала на кровати и смотрела, как они режут небо пропеллерами и острыми крыльями. Но летать они стали так часто, что я глядела на них так же отстраненно, как и на стаи птиц. Только их гул совсем рядом, так низко от земли, тревожил и никак не становился привычным.

Я провела пальцем по выступающим венам на руке. Как быстро действует время! Сорок шесть лет изнутри не ощущались никак. Что бы это значило – ничего не накопила? Не изменилась – не стала лучше, сильнее, не раскрыла талантов и предназначения? Я вздохнула: чему удивляться, ведь я уберегла себя от отношений, от рутины работы, от истерии новостей. Я не представляю ни одного события, которое бы вытащило меня из моей уютной норы туда, где толклись все они – люди.

Вот, впрочем, и вся история моей жизни. Я лежу на кровати у окна, читаю книги. Перечитываю. Из баловства надеваю бабушкины янтарные бусы, почерневшие браслеты, в зеркало не смотрюсь: страшно. Я себя вижу изнутри, а жизнь моя взята из книг, реальность мне уже давно ни к чему.

Я отложила книгу, которую читала; меня потряхивало от раздражения. Я легко заражаюсь настроением пи-

сателлей, впрочем, своих настроений у меня и не было. Последние десять лет писатели были полны отчаяния и желчи. После их книг думалось об апокалипсисе как избавлении от бессмысленности жизни. Они ненавидели человека, страну, прошлое, не видели будущего, при этом не писали ни о чем значимом, нельзя было догадаться, какие важные события происходят в мире, какие проблемы стоят перед людьми. Странная литература, думала я, засыпая.

Заскрежетало в замочной скважине, хлопнула дверь.

– Они захватили нас, наше правительство ждет трибунал, держи газеты.

Спросонок я не разобрала, о чем это она. Эта стояла в своей выутюженной белой форме с вечной медицинской маской, лица ее я никогда не видела, только усталые голубые глаза – будто осеннее небо. Стояла и тянула мне газеты, а глаза ее сегодня были летне-бездонными. Радовалась.

– Ты не бурчи, что я газеты принесла, знаю, не читаешь. Но на этот раз книги не сообщат о жизни, а газеты – да. Тебе столько наверстать придется за пятнадцать или двадцать лет, не знаю, уж прости, сколько ты тут лежишь...

Но какие там газеты! Бросила их на кровать, а сама сыпет новостными обрезками, как картофель чистит. Обычно молчит, убирается резкими, раздраженными движениями, шумно снимает упаковку со стопки новых книг; книги она не одобряет, раскладывает их на стол рядом с кроватью; готовит еду, не умеет, но готовит, сразу на два-три дня. За что-то осуждает. Молча уходит. А эта сегодняшняя... Я даже заподозрила, что она не та же самая, другая.

– Ты зачем молчишь? Ты же в курсе, что война шла? Или... нет? – Ее вдруг ошеломила мысль, что можно быть не в курсе событий. Как я последние двадцать пять лет.

– Я почитаю газету, спасибо, мне надо еще поспать, а то мигрень схватит, – сказала я нарочито спокойно, только бы она умолкла.

Эта сузила свои летне-сияющие глаза над повязкой.

– Не время спать. Завтра еще принесу газет, – сказала она на выходе, и я не успела крикнуть, что не надо.

Газета лежала, пестрела, орала заголовками. Ворвалась в мою тишину. Я смотрела на нее, раздумывая, надо ли мне ее брать или нет. Будет ли по-прежнему лишь небо и верхушки деревьев за окном или уже нет? Но куда больше меня занимало, почему Эта радуется проигрышу нашей страны в войне...

За три дня не случилось ничего сверхвыдающегося, кроме того, что я никак не могла нырнуть в книгу, жить ее жизнью, мыслить ее мыслями, чувствовать ее чувствами – ни первой, ни второй, ни третьей, как будто книжные двери захлопнулись передо мной, оставив наедине с комнатой. Газету в первый же день, стараясь не задевать взглядом слова, я запихнула в ящик тумбочки, но она там кричала на всю комнату. На третий день разыгралась мигрень.

Я лежала и пялилась на все подряд книжные шкафы, которыми были заставлены стены. Взгляд цеплялся за мелочи: уголок отлепившихся обоев, паутина с мушками, пятно вокруг выключателя – мир неидеален. Закрыла глаза. Да что уж там, он невыносим своей неидеальностью. Но можно заказать ремонт, ремонт сгладит впечатление от мира в целом. На этой мысли я наконец задремала.

\*\*\*

Эта пришла без повязки, и я впервые увидела ее лицо. Правильное, отутюженное и белое, как ее форма, – ничего не понять. Вывалила мне на кровать пачку газет. Газеты пахли дождем.

- Наконец нас освободили!
  - Кого «нас»? – спросила я осторожно.
  - Кого-кого – народ.
  - От чего освободили? – еще осторожнее уточнила я.
- Так и уставилась на меня.
- От власти.
  - Но ведь придет новая власть.
  - Да, но система-то наша сломалась, а значит, мы свободны.
  - Для чего свободны?
  - Не для чего, а от чего. – Она поправила стопку книг – стояла неровно, поправила меня, поправила уголок одеяла на кровати. – Власть – это плохо, ей на нас плевать, у нее всегда свои интересы.

Я взглянула в окно – дождь не унимался, деревья облезли и топорщились голыми ветками. Я задернула штору.

– Та власть, эта власть, а человек сам остается рабом при любом раскладе. Не знает человек, для чего ему свобода, – пробормотала я книжными мыслями, но Эта меня не слушала – ушла шуметь на кухню. Во мне было пусто-гулко, книги не наполняли, новость про смену власти парализовала чувства, потому что стало очевидно: мир сломался.

\*\*\*

Они пришли разом – отряд мира нагрязнул: женщина и двое мужчин. Эта открыла им дверь и протиснулась следом. Их было трое, с портфелями, в черных костюмах, как в доспехах. Взяли стулья на кухне, поставили перед кроватью – стук, – сели разом, как по команде положили портфели на колени, щелк – и достали бумаги. Эта в белой форме маячила за их спинами. Ногам под одеялом стало холодно. Начала говорить женщина – высушенная, вот что я о ней подумала. Мелкая и сухая. Может, и вну-

три такая же. Мои парализованные чувства не приходили в себя, я была душевным инвалидом и не могла даже себе объяснить, что вообще со мной происходит. Только вот ногам холодно.

– Вы должны доказать свою лояльность новой власти, – сказала высушенная.

– Что? Простите, вы по-газетному говорите, я плохо понимаю.

Люди в костюмах переглянулись, встряла Эта и объяснила:

– Значит, вам надо будет что-то сделать, чтобы показать, что вы одобряете новую власть.

– Мы проведем анкетирование и занесем ваши данные в реестр... Тр-тр-тр... – Я дальше не поняла, говорил мужчина слева, тархтел ужасно – вот-вот развалится под своими костюмными доспехами. Закружилась голова, и я сползла на подушках, накрывшись одеялом по шею.

– Какого года рождения? – спросил второй с узким лицом, стекающим в узкий галстук.

Вспомнить не могла.

– Не трудитесь, нам известна дата вашего рождения, мы лишь хотели проверить, насколько вы ориентируетесь в реальности. – Высушенная женщина смотрела на меня с жалостью. А у мужчин синхронно скорчились лица в маску «что это перед нами такое».

– Кто вы по профессии?

Я зависла, в голове мелькали кадры давнишней жизни: много людей, много вопросов к устройству мира.

– Я... я не окончила университет и нигде не работаю, – я внезапно замолчала из-за чего-то раздраженного, мелькнувшего складкой через выютюженное лицо Этой, и добавила, оправдываясь: – Я не доучилась год до диплома, потом...

Женщина и мужчина встали, третий складывал бумаги в портфель. Женщина с мужчиной стояли и смотрели так же, как мои родители когда-то – картонная реклама в рост человека с натянутыми улыбками, реклама моих родителей. Взгляд у них был безразличный, рыбий – у этих и у тех. Женщина сказала:

– В тот год ваши родители погибли в автокатастрофе, вы получили психологическую травму и бросили учебу. Опрометчиво: вы были лучшей на потоке, вас ждало большое будущее, могли бы стать важным членом общества.

Я отвернулась к окну. В небе сновали туда-сюда первые снежинки, мелкие дошколята снега, еще не научившиеся степенно падать хлопьями и основательно покрывать землю, как предписано им законом природы.

Они еще спрашивали обо мне, но так как рассказать было нечего – я все смотрела в окно, а им нечем заполнить свои бланки, то вскоре эти трое ушли, оставив перед кроватью три пустых стула и холод под одеялом.

Они были неправы, они придумали за меня мою жизнь, и мне никак было не уснуть с этой надетой на меня чужой шкурой. Не было, не было, не было никакой травмы от смерти картонных родителей! Да, передо мной стелилась красная ковровая дорожка прямиком в успешную жизнь. Только не в ту сторону она стелилась, в не-мою-жизнь. И когда родителей, устеливших мне дорожку, не стало, я решила, что наконец найду свой путь, только прошло двадцать пять лет, а я... Я с трудом произнесла это вслух: «Я прожила тысячи книжных жизней. Тысячи, кроме своей одной».

\*\*\*

Квартира у меня была большой – пять комнат. Там жили книги, которые были прочитаны и которым не су-

ждено быть перечитанными. В моей комнате жили книги, перечитываемые мной из года в год. Я не могла сказать, что комнаты пустовали. Зато так сказали еще одни, впущенные ко мне Этой. Их было уже шестеро, они оказались шумными и носили бесформенные рабочие комбинезоны. Эта была в черном костюме-доспехах.

Они встали передо мной беспорядочной кучей, на меня не смотрели. Говорил один, тот, что спереди, говорил с окном, в котором стояла зимняя пустота:

– По документам вы не стоите на учете как инвалид. Встаньте, пройдите на кухню, в постели разговаривать с официальными лицами без соответствующего документа не положено. Мы зачитаем вам постановление нового правительства.

Ну и акцент! Не особо разберешь, о чем речь. Эта выдвинулась из-за спин и скомандовала:

– И хватит валяться в кровати, встаньте и начните уже делать хоть что-нибудь! Я знаю, что вы умеете ходить: как-то же вы добирались до туалета и еды на кухне и книжонки свои по шкафам распихивали.

Слезла с кровати, доплелась до кухни. В одеяло завернуться не дали – еще одно «не положено», хоть на кухне было холодно, а на мне тонкая ночнушка. Сгрудились вокруг меня, говорили, но я одеревенела и никак не могла уловить, о чем же их слова. И все они, и их слова, и Эта словно бы отъехали от меня далеко-далеко, за окно. Тогда Эта в черном костюме выдвинулась вперед и зачитала с листа:

– Вы осуждены за безразличие. Вы не поддерживали ни свое государство, ни наше, не вкладывали свои таланты в развитие и победу ни одной из сторон и заботились лишь о своем комфорте, а значит, вы не можете быть частью общества. Ваша квартира будет конфискована, ваши счета – заморожены, вам дается испытательный



срок три месяца, чтобы вы определились, каков будет ваш вклад в общество.

Эта стояла среди комбинезонов и радовалась. Ее лицо не было больше выглаженным, оно пошло складками, в которых застряли, словно грязь, злорадство и насмешка.

\*\*\*

Прошло дня два или три, я жила под землей в огромном каменном тоннеле, потолок его терялся в темноте, из которой, словно из ниоткуда, спускались вниз цепи с лампами. Стены тоннеля – многоэтажные кровати по десять этажей, все равно что книжные стеллажи, только вместо книг – люди. Здесь жили сосланные безразличные, такие же, как я. Наверное, мне повезло, моя кровать была на полу, первый этаж, и не надо было ползать по лестенке вверх-вниз. Повезло, потому что все, что я смогла сделать в первый день, – занавесить свое место серой простыней, закутаться в одеяло, накрыть голову подушкой, чтобы отгородиться от постоянного гула людских голосов, не смолкающих ни на секунду даже ночью, и застыть комом в одном положении. Будь я где-нибудь наверху, никто бы и не заметил, но я была внизу, через меня проползали туда-обратно человек пятнадцать. И кто-то содрал простынь, потряс за плечо:

– Хватит разлагаться, иди ешь, завтрак привезли. Тут трупы никому не нужны. И умойся уже, через пару кроватей умывальник.

Я сделала, как велели, встала и пошла. Я шла по серому каменному полу, среди серых одеял на серых кроватях, и повсюду, на каждом метре были люди. Их вьедливые глаза, их тревогагустили воздух. Закружилась голова – я только и успела прислониться к чужой лестенке. Когда

в голове немного прояснилось, я увидела, что они смотрят на меня со всех сторон. Некоторые снимали на телефон, я слышала, они говорили:

– Вот в каких условиях нас держат, ноль комфорта, ноль заботы, их власть ничуть не лучше нашей. Они о нас не заботятся, только требуют, чтобы мы думали о своем вкладе в их общество.

– Что замерли? – раздался громкий мужской голос. – Так и будете пялиться, ничего не сделаете, потому что вас не касается?

Чьи-то руки меня подхватили, усадили, сунули в руки горячую кружку – пахло отвратительным кофе, но я стала пить, поставили миску с кашей – я стала есть. Глаза на того, чьи руки подносили, давали, забирали, вытирали, я не поднимала.

– Спасибо, спасибо, – бормотала на каждое движение чужих рук. – Я пойду, тут умыться было через две кровати, я не знаю где.

Снова подхватили меня под руки, повели в другую сторону, не туда, куда я шла. Там был плохонький умывальник. Холодным мыли мне лицо, совали в руки полотенце: «Да держите же, вот так, вы молодец, стало легче?» Полегче и правда стало. Особенно когда добралась до своей кровати. Теперь я сидела горкой, завернувшись в одеяло, и смотрела. Тот, кто помог, уходил. В сознание врезалось грустное лицо с носом-клювом и гнездо темных волос. Птиц.

Тоннель тянулся без конца и края в обе стороны, так что посмотреть было на что, но взгляд цеплялся за незначительное – блеск железных кроватей, щербина на полу, чей-то стоптанный ботинок, – и в голове застряла глупая фраза кого-то рядом: «Нет условий для счастья». И глупость ее зудела: я же знаю, из всех прочитанных книг знаю, что для счастья не нужны условия. Мне отчаянно

не хватало книги, хотя бы одной, пусть самой никчемной, только бы выбраться отсюда на ее страницы.

– Вы уже придумали, чем принесете пользу новой системе? – С верхней кровати ко мне свесилась голова соседа, я отпрянула и ударилась о каменную стену головой. – Простите, не пугайтесь, мне посоветоваться не с кем.

– Нет, не думаю, что от меня могла бы быть польза.

Собеседник хохотнул и зашептал:

– Ну так, судя по тому, что мы здесь, пользы ни от кого нет, но лучше помалкивать об этом. Вы слышали о вереницах закрытых вагонов? Не стоит туда попадать. Говорят, они едут за Стену, а за Стеной, как известно, жизни нет. А ведь можно продолжить свою жизнь и в новых условиях, всего-то и надо, что подыграть новым властям. Разница-то невелика. Не все ли равно нам?

– Может быть, – неуверенно промямлила я, чтобы завершить разговор, но чувствовала: тут был в подвох. Не в соседе, а в его утверждении. За это «все равно» мы сидели под землей в каменном тоннеле, лишившись своей системы. В книгах такие вещи не проходят незаметно, они складываются в историю о возмездии, но вокруг кипела не книжная жизнь, и исхода я предугадать не могла.

– Лучше б уж вы поскорее придумали, кем будете в системе, а то... – Сосед не договорил, свалился на пол с кровати, и раз уж никто не подумал ему помочь, то помогать пришлось мне.

\*\*\*

Вскоре я выучила лица, стала прогуливаться на тридцать кроватей в одну сторону и тридцать в другую (дальше идти опасалась: не найти своего места), ждать завтраков, обедов и ужинов. Их развозили на дребезжащих тележках люди в масках. Простые действия заполняли во мне пустоту, которой я никак не могла придать смысл.

Люди в тоннеле мучились оттого же – я чувствовала, мучение пустотой было разлито в воздухе. Они редко слезали со своих кроватей, таращились в телефоны, снимали на видео самих себя, жаловались подписчикам на все подряд: на некачественные завтраки и ужины, на плохую вентиляцию, на шумных соседей, на то, что о них никто не подумал. Я была такой же – вот что меня начало тяготить, когда прошла первая неделя. Водила руками по шершавому одеялу, не здоровалась с соседями.

Птиц, тот, что с гнездом на голове и носатым грустным лицом, жил на пятом кроватном этаже напротив, чуть левее. Но он... как бы это сказать, я все подбирала для себя слова, словно сочиняла историю, в которой ничего не происходило... В общем, Птиц не был пуст. Он весь день бродил по тоннелю, знакомился, громко здоровался, подходил к тому или другому, присаживался на кровати или подзывал к себе. Он заполнял пустоту всех присутствующих. За ним так же, как и я, следили, словно издалека подпитываясь его энергией. Птиц маячил своей шевелюрой и носом то тут, то там, убеждал, призывал, вдохновлял, и на мгновение лица безразличных озаряла вспышка понимания, но только он отходил от людей, как они утыкались в телефоны, и их лица освещали только экраны.

Я так внимательно за ним следила, порой даже завернувшись в шершавое одеяло, ходила там, где и он, что забыла о страхе скорого будущего – вагоны, Стена, смерть, – а ведь это единственное, что имело значение. Потому что ни я, ни все они не знали, как избежать этого будущего. Наши жизни были насквозь бесполезны для общества. Ночью под гул и шепот переполненного тоннеля я вдруг поняла: а Птиц знает.

Завершалась вторая неделя из трехмесячного срока. Люди по-прежнему ныли на своих кроватях, обращаясь неизвестно к кому:

– Почему я должен определять свой вклад в общество? Я никому ничего не должен, я живу для себя – вот мой единственный долг.

Если Птиц был рядом, он отвечал:

– Для кого-то жить для себя значит нечто большее, нежели личный комфорт, – это большие цели, включающие в себя влияние на мир и желание приносить пользу миру своей жизнью.

Одна, объяснившая безразличным, что она большой писатель, твердила:

– Они хотят, чтобы я писала книги общественно значимые, но я отказываюсь. Они не имеют права. Я пишу о себе, своих интимных поисках, это и есть значимое, ведь кто-то другой прочтет и найдет во мне себя.

Если Птиц был рядом, он отвечал:

– Сегодня власть толпы и серости, сегодня наибольшая серость становится звездой, потому что в ней остальные, неотличимые друг от друга, находят себя.

Некто жаловался соседу, который не слушал его, уткнувшись в телефон:

– Я всегда работал, чтобы у меня были дом и машина, почему я должен работать ради работы? Какое мне дело до производства страны? Страна – это не ко мне.

Если Птиц был рядом, он отвечал:

– Работа, труд – вот что определяет полноту жизни человека. Когда труд осмыслен и в радость, когда он раскрывает полноту возможностей человека, тогда он приносит и обществу пользу.

Со слезами на камеру советовалась с подписчиками девица:

– Я снимаю свою жизнь. У меня миллионы поклонников. А эти говорят – это неважно. Но что для меня важнее моей жизни?

Если Птиц был рядом, он отвечал:

– Надо приложить много усилий, чтобы твоя жизнь стала значимой для других, такие люди становятся героями, политиками, творцами. Нет худшего зла, когда не заслужившие права на значимость получают эту значимость.

Пощипывая ухоженную бороду, высокомерно вещал другой:

– Я очень умный человек, я веду аналитический блог, высказываю свое мнение. А они сказали, что я должен делать что-то, а не болтать. Но информация сегодня на вес золота, и я делаю – производжу информацию.

Если Птиц был рядом, он отвечал:

– Информация рождается из опыта и фактов и весит как золото, если она – правда, если способна открыть другим дорогу из мира иллюзий.

Я, уже не стесняясь, ходила следом за ним, завернутая в одеяло, еле поспевала за его размашистым шагом, но он меня не замечал, а мне нечего было ему сказать.

Странно, что кто-то вроде него оказался тут. Таких берут в герои книг, потому что они умудряются совершать поступки, в отличие от кучи персонажей, которые бегут, как бараны, подгоняемые сюжетными событиями. И я чувствовала себя бараном, бараном, бараном – так невыносимо было существовать! Так что спустя несколько дней я перестала вставать с кровати, гулять по тоннелю, выискивать взглядом Птица, прислушиваться к его голосу. Нет, даже не так, его голос – густой, упрямый, убеждающий – раздражал, потому что он призывал к действию, а что делать, я по-прежнему не знала.

С каждым днем мне становилось все хуже. Пока я была наедине с собой и книжными комнатами, жизнь казалась мне нормальной и даже прекрасной. Но здесь я кожей ощущала, что проспала всю жизнь. Я лежала на кровати, отщипывала от одеяла по ниточке и пялилась в камен-

ную стену. Баран, бегущий со стадом, ожидающий, когда кто-то решит, в какую сторону ему бежать дальше. Я задышалась, запертая в этом тоннеле, в этой ситуации, в самой себе – слабой и бесполезной. Мне ужасно хотелось, чтобы Птиц подошел ко мне. Чтобы спас.

Прошло уже три недели. Срок таял, словно лед на весенней реке, и вот-вот мы рухнем в темные шумные воды. Истерия нарастала.

\*\*\*

Я не сразу ее узнала. Эта снова была в маске. Снова в белой форме. Я шла к умывальнику. Она шла с кучкой полотенец, а позади скрипела самоходная тележка с горой белья. Остановившись, я наблюдала и, когда она поравнялась со мной, выпалила:

– Ты!

Эта остановилась.

– Похоже, что я, ведь ты умудрилась обратить на меня внимание. И что?

Хотелось задать миллион вопросов разом, а я глупо спросила:

– Но почему ты здесь?

– Всех сдала. «Вы выполнили свой общественный долг». Теперь могу заняться тем, что умею – обслуживать все тех же безразличных идиотов. – Эта не говорила – плевалась ядом. – Я им говорю, что могу пригодиться для более важных дел, а они в свои анкеты тыкаются носами: «Вы предали свою страну, мы не можем вам дать важного дела, вам нет дела до страны, только о своем благе печетесь». Нет, ты подумай, о своем благе! Я всю жизнь в службе, всю жизнь только и старалась свести концы с концами, а выживание и развитие – две дороги в разные стороны. А теперь, когда я могу начать развитие, меня выпихивают обратно... Недоумки.

Эта посмотрела на меня как-то попристальнее, будто разглядела наконец.

– М-да, а ты, гляжу, одну кровать на другую променяла. А я снова тебя обслуживаю. Ну ничего, утешает, что ненадолго ты тут. Денечки тикают, я видела наверху, как неопределившихся в вагоны закрытые грузят – и за Стену! Кому такие, как ты, нужны?

– Что я тебе сделала?

– Ой-ой, какие невинные глазки! Спроси, чего ты не сделала! Не смотрела, не говорила, не замечала моего существования – тарасилась рыбьими глазами в пустоту, будто меня нет. Ишь какая мерзопакость пришла в твою нору, принесла продукты, приготовила еду, убралась, выполнила поручения, посмела нарушить ход твоей книжной жизни!

Эта не кричала – она роняла обвинения с жутким грохотом, так мне казалось. На нас смотрели со всех сторон, выползли из кроватных нор, снимали видео, но больше всего меня смущало, что Птиц подошел очень близко и внимательно слушал, разглядывая не Эту, а меня. Пусть все они, только не он... Эта продолжала:

– Тебе нормально, что твой комфорт поддерживают такие, как я, за копейки выбиваясь из сил по четырнадцать часов в сутки! И знаешь, я бы смирилась, если бы ты была умна и талантлива, какая-нибудь особенная, чей вклад в общество такой значимый, что не надо бы тебе тратить время на всякую бытовую глупость. Но ты же пролежала на боку всю жизнь, пялясь в буквы – в чужие жизни, как другие с телефонами! Ты как я, просто тебе удача сверкнула, а мне нет. Если бы деньги платили за труд, знания и таланты, я бы поняла, приняла, но у нас ведь любое никто получало блага мира за просто так. Ты даже имени моего не знаешь, думаешь, я никто, а никто – это ты, книжница!



Эта пошла дальше, не попрощавшись, за ней шлейфом тянулась ядовитая ненависть. Наблюдатели втянулись в кровати. Снова загудело в тоннеле от их голосов.

«Рыбы глаза», – вот что меня подкосило, словно я – картонная реклама себя, как были рекламой мои родители. Я добралась до своей кровати, неаккуратно завесила ее простыней, простынь падала, я снова подтыкала ее за край верхней кровати, ткань падала с другой стороны. «Плевать, плевать», – шептала я себе, заворачиваясь в одеяло с головой. На кровать кто-то сел. Птиц.

– Привет. Слышал, ты прочла много книг.

Я вынырнула из-под одеяла, кивнула, стараясь не смотреть на него, и чуть отодвинулась. Контраст между нами был мучителен, особенно после слов Этой.

– Значит, ты знаешь истории про то, как люди меняют свою жизнь. Ты могла бы их рассказать другим? Собрались бы вечером, ты бы рассказывала, они бы слушали...

– Я... я не могу, – выдавила я из себя и взглянула на Птица. Взгляд был проникающим, будто Птиц мог видеть, что я прячу на изнанке себя. И все же в его глазах не было угрозы, а только сопереживание тому, что он увидел, и, видимо, оттого много грусти. Не стоило объяснять, что я не такая, как он, что я не хочу...

– А чего ты хочешь?

«Вернуть свою жизнь», – вот что я не сказала, потому что не было никакой жизни. Чего же я хочу?

– Ты знаешь, где меня найти, книжница.

Птиц уже давно не ходил один, вокруг него собирались люди. Мне хватило этого коротенького разговора, чтобы снова начать дышать, ходить. Ко всему этому я теперь перебирала в уме истории, перед глазами всплывали корешки прочитанных книг, я вспоминала шелест страниц, чувства, пережитые за чтением. Я все собиралась с духом, чтобы улучшить минуту и подойти к Птицу, сказать,

что я согласна, я могу. Но такого момента никак не случилось: один он теперь не был.

А потом появился бородатый. Кто-то из тех, кто сходил с ума. Сходили с ума чаще молча. Сумасшествие бородатого было громким. После завтраков он бродил по тоннелю и кричал одно и то же. Сначала появлялся крик, потом запах, потом он сам:

– Я безразличный, да? А может, это система была ко мне безразличной? Да! Да! Ей дела не было до меня, места в ней не было для меня! Только у богатеев было место. Они мне дали свободу выражаться в интернете... Да подавитесь вы своей помойкой, это загон для мычащего скота. Тоже мне свобода! А новые чем отличаются? Ничем! Такая же система с одной лишь функцией – живы на народе. Мы тут все профукали свою свободу, не воспользовались ею, утопились в безразличии, а теперь давай вставай, народ, думай, думай, как родиться заново для новой системы! Вы все предатели, предатели – себя, страны.

Проходил он, все выдыхали, махали тряпками, чтобы разогнать вонь, слова, опасные мысли, которые застревают надолго, как и запах, как и слова...

Тогда я и не выдержала. Ведь он сказал вслух то, что не говорили мы себе сами. Я тоже не хотела быть частью той системы, где успеха могла добиться только потому, что у меня родители с рыбьими глазами и ковровой дорожкой к успеху, где пишется та злая, безнадежная литература, где нет места уму, талантам. Но сейчас... Я вскочила с кровати, забыв одеяло, и подошла к Птицу. И пока я шла, он смотрел, он знал, зачем я к нему...

– У меня есть истории, и я хочу их рассказать.

Птиц улыбнулся. Оказывается, улыбка у него была грустной. Слишком много он видел изнанок людей. Рядом с ним хотелось скомкать свои страхи и выкинуть

в мусорный бак, чтобы он смог восхититься и больше не грустить по нашим слабостям.

Меня усадили на кровать на втором этаже и встали кругом. Я начала рассказывать, то задыхаясь на каждом слове, то перебегая от мысли к мысли, то забывая, что будет следующим в рассказе. Но они все равно слушали меня, и в какой момент я словно перешагнула через невидимый барьер, история зазвучала, потекла свободно, а я будто бы провалилась в нее, стала ее голосом, ее чувствами, была полнозвучной. Была!

Во мне бурлили истории про то, как люди могли бы измениться, но не менялись и погибали, и истории, где люди преодолевали невозможное и менялись.

Со второго этажа я видела, как подходят все новые и новые люди, вслушиваются, морщат лбы, улыбаются. В следующий раз меня посадили на третий кроватный этаж. Люди подходили, здоровались друг с другом, обнимались. И я рассказывала снова. И на другой день, и на третий. После моих историй Птиц говорил всем собравшимся:

– Слушайте, мы можем стать новыми людьми! У нас есть выбор. Наша история может кончиться счастливо. Начнем действовать.

Он предложил создать отряды помощи, искать тех, кто утратил надежду, говорить с ними, вдохновлять на поиск цели. Еще мы собирались, чтобы обсуждать наши таланты и способности, наши мечты и желания. Не знаю, был ли в этом какой-то смысл, но что-то изменилось: мы знали друг друга в лицо, мы говорили, мы ходили, мы были нужны друг другу. Не все, конечно, нет, большинство все же отмахивались от нас – «сектанты долбанутые» – и продолжали лежать на кроватях.

Прогуливаясь по тоннелю – тридцать кроватей в одну сторону, тридцать в другую – здороваясь, останавливаясь

для поговорить, я внезапно стала кем-то вроде всезнающей книжницы. На каждую душевную боль у меня было лекарство – история, и я раздавала их направо и налево. Я начала что-то чувствовать, глядя на людей, сложно объяснить что, наверное, они теперь были как истории: каждому надо было найти сюжет, тему и развязку. Один раз меня позвали дальше моего обычного маршрута. И там жили мать с дочерью. Я застала их сидящими на кровати: поджав ноги, смотрят друг другу в глаза, держатся за руки, говорят. Не то чтобы я умилилась или что-то в этом роде, скорее мне внезапно стало больно на них смотреть, ужасно тоскливо, потому что я не знала, что с ними не так, отчего столько близости, отчего столько важности, только вот это было самым главным. Я замерла и прошла мимо, низко опустив голову.

\*\*\*

В какой-то из дней внезапно ворвались люди в форме. Они шли по тоннелю, называли имена и сдергивали «постояльцев» с кроватей, а потом гнали толпой впереди себя. Те жалобно кричали:

– У нас еще полтора месяца! Мы не хотим!

Мы все знали, зачем их забрали – в закрытые вагоны, которые идут за Стену. Мы жались на своих кроватях, надеясь лишь на то, что не нас, не нас, не меня. Птиц шел в этой толпе, он шел спокойно, смотрел на остающихся и говорил:

– Вы должны стать новыми людьми! Тогда вы сможете создать новое общество. Общество – это вклад каждого, каждого, кто позволил себе труд открыть свои возможности в полной мере. Только тогда общество даст вам путь к использованию этих возможностей.

Что он нес? Его лишили выбора, у него отобрали время, его слова не имели больше силы. И его мы больше не ви-

дели. Не собирались кучками, не рассказывали историй, не ходили по тоннелю, забились на кровати и ждали, когда придут за нами. Мы снова были по отдельности, еще более чужими, чем прежде. Я тоже сидела на своей кровати, смотрела на людей и обдумывала простую мысль: никто из нас не был героем ни одной из историй, мы ждали, когда истории случатся с нами. Птиц вынашивал план и для осуществления плана искал нужных людей, много людей, и каждому он находил свое место в этом плане. Я видела, что потерянные, загнанные под землю, не привыкшие к общественным работам люди оживали, что-то придумывали, о чем-то говорили, чем-то горели. Как я, когда рассказывала истории. Но сейчас, без подпитки Птица, я была никем. Быть может, если мы таковы, то всем нам нужна другая система, в которую нас просто впишут и дадут места?

Из внимания ускользнуло еще несколько дней. Прогуливаясь по привычному маршруту, но не заходя туда, где жили мать с дочкой, чтобы не почувствовать чужое «мы», я наткнулась на жуткий взгляд. В глубине одной из кроватей на третьем этаже были знакомые глаза. Эта. Она теперь тут жила. Я подошла, вскарабкалась по лестенке.

– Что случилось?

Эта выругалась. Лицо резали на части злые складки.

– Сказали, что дают шанс определиться и искупить вину за предательство. А я отказываюсь признавать вину. Много ли мне дала старая система, чтобы я виноватилась перед ней? Ты знаешь, давай проваливай, уши развесила.

– Скажи свое имя.

– Нет у меня имени, не нужно оно таким, как я.

– Но ты ведь можешь подумать о том, чего же ты хочешь.

– А ты, я смотрю, уже подумала, сидишь все в той же позе, что и двадцать лет на кровати! Да комфорта я хочу

и не работать! Плевать я хотела на любую систему. Пошла вон! Вон!

Эта кричала, и я поспешно слезла с лесенки и чуть ли не бегом вернулась к своему месту. Разгадка была так близка, я почти ее нащупала, я вот-вот что-то пойму... Нет, я уже не была в «той же позе».

Я уснула с этими мыслями и проснулась с ними, наполненная и радостная, будто новый день принесет мне... И тут раздался крик. Он пронесся по тоннелю, захватив ужасом. Я видела в глазах и жестах... Я вскочила, другие тоже вскакивали, спрыгивали с кроватей, бежали на крик, и я с ними.

Я, они, мы все увидели: на лесенке висело тело Этой. Мы молчали хором. Мы смотрели на тело, которое словно кричало одним своим видом: **ВЫХОД**, вам сюда. Злая дрянь, сорвала повязку с наших страхов: нет у вас выбора, вот он, единственный личный выбор каждого, кто не хочет быть частью системы! Мы дышали в унисон, наши руки тряслись в одном ритме, быть может, мы даже мычали и не расходились. И не было Птица, чтобы нас успокоить. Меня толкнули, и я закричала от страха:

– Не хочу, я не могу больше так!

Толпа заволновалась, распалась, меня подхватили под руки, отвели на место. Вскоре тоннель опустел, все спрятались. Только и слышны были всхлипы, нервный шепот, стоны.

Я больше не буду такой, как была. Никогда. Но что делать? Я спустила ноги с кровати – пол был холодным, холод побежал по ногам, и они тоже каменели. К черту их, к черту страх! Я стала рассказывать одну историю, в которой жил-был Птиц. Я слышала их дыхание, слышала, как они замолкли, задвигались ко мне. Я заговорила громче и вглядывалась в лица, чтобы каждый чувствовал: я говорю с ним. Я видела их глаза, я слышала их с изнан-

ки. Ноги были ужасно холодными, а руки, чтобы не тряслись, я сжала в замок. Они не будут другими, но я могла стать другой. Истории нужны, чтобы объединять людей чувством и мыслью, чтобы сближать в тесное, теплое, слушающее «мы». Я говорила, пока не задремала на лежаке с обедом.

Люди в форме пришли после обеда. Сдергивали с кроватей, гнали толпу. Они назвали мое имя. Я рассмеялась.

Грузовой лифт, темные коридоры со слабыми лампочками, шарканье множества ног – нас вели, а мы шли. Когда очередные двери распахнулись перед нами, я зажмурилась. В глаза било солнце. Холодный воздух пьянил. Мы стояли на платформе, рельсы струились вдаль, в страшное будущее.

– Я не согласна, – прошептала я про себя, а потом выкрикнула: – Я не согласна, мне есть что дать миру!

– Я знаю. – Птиц подошел сзади. – Поэтому ты здесь, а не внизу. Оглянись.

Я посмотрела на него. Ветер лохматил его волосы, и грустила на лице улыбка. «Кто он?» – мелькнул ненужный вопрос.

– Оглянись же, кого ты видишь?

Люди, которых вывели вместе со мной, были теми, кто ходил с Птицем по тоннелю, помогал, говорил, наставлял, участвовал. Никто из них не боялся. И я все поняла. Мы справились, мы преодолели безразличие, мы построим новое общество, в котором у каждого будет место за талант, за труд. Потому что никто, кроме нас, этого не сделает.

– Видишь ли, – сказал Птиц, – не было никакой войны...

Была информация о войне в изданиях и интернете, информация, которую никто не проверял, потому что отвыкли действовать физически и умственно. Люди ставили воинственно-протестующие статусы в соцсетях и сра-

жались в комментариях, полыхало по всей инфостране, не затрагивая реальной жизни, но никто на это не обратил внимания. Процесс, запущенный страной, назывался Государственным самоочищением. Безразличную к народу власть сменили, но без людей, которые захотят работать для общества, у новой власти не было бы шансов. Людей ставили перед выбором: быть частью общества или не быть, вот и все. Три месяца для самоопределения – срок более чем достаточный, но многим и этого оказалось мало, даже под страхом смерти. Ну а Птиц и был новой властью. Отовсюду на меня смотрело его грустное лицо с большим носом.

Я шла по улицам, когда-то мне ненужным, между домов, которые когда-то были неинтересны, пока не добралась до дома, в котором жила. Я стояла на улице, задрала голову. Там, на последнем этаже дома, темнело мое окно, а перед ним качались зеленые верхушки деревьев.